

Гуманизм Пушкина

А. Македонов

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Так определил Пушкин основное в своем творчестве, — то, за что будет ценить его народ. В гуманизме видел основное, прогрессивное в мировоззрении Пушкина и Белинского. И Белинский же поставил вопрос о соотношении у Пушкина «гуманности» и «принципа класса».

Что же это за гуманность?

Гуманность Пушкина 30-х годов является ответом Пушкина на те противоречия истории, которые он видел с необыкновенной трезвостью и глубиной, но выхода из которых он все же не мог найти. Пушкин в то же время смутно предчувствовал, что «жестокий век» — не вечен; но как перейти к этому веку свободы и человечности, — это оставалось неясным. Смысл гуманности Пушкина состоит именно в противопоставлении «жестокому веку» «прав человека» и в поисках какого-то объективного, реального обоснования этих прав в пределах «жесточкого века», поскольку выхода из него поэт найти не мог.

«Тирани» и человек

Вопрос у Пушкина стал так: если ход истории и условия общественной жизни действуют стихийно, слепо и жестоко, как «судьба», то встает вопрос — как же относиться к людям, осуществляющим эту историческую необходимость и что это за люди?

Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой;
Кто цель имел, и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился
И богу душу передал,
Как откупщик или генерал.

«Откупщик» или «генерал» — так в практический «герой» того общества, которое знал Пушкин. В этом обществе правят «злато» и

«булат», корысть и насилие. И к людям, которые правят обществом, Пушкин относится глубоко критически. Даже высшие представители этих правящих «кормило» (выражение Пушкина) общества людей — в той или иной степени античеловечны.

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить номера.
Уча людей, мороча братьев,
При громе плесков и проклятий,
Он совершил мог грозный путь,
Дабы в последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов, или Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон...

Кутузов, Нельсон, Наполеон... Все это уже не просто «откупщики или генералы», а действительные, с точки зрения Пушкина, герои. Отношение Пушкина к таким героям, как Наполеон, конечно, не исчерпывается тем, что мы читаем в этом стихотворении. Но важно здесь отметить критическое отношение Пушкина к самому принципу героизма, основанного на «генеральстве». В этом героизме Пушкин видит нечто противоречащее той полной и гуманной жизни, о которой он мечтал,

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
..... мороча братьев.

И для чего весь этот «грозный путь»?

В сраженьи [смелым] быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век?
Все дерзко бьется, лжет нахально.

(Сравни «мороча братьев»!)

Герой, будь прежде человек.

В последней строчке — целая программа, глубоко характерная для Пушкина. «Героизм» «жесточкого века», по мнению Пушкина, не совпадает с человечностью, поскольку он остается на почве этого века.

Жестокий и лживый «героизм» неотделим для Пушкина от ненавистного ему индивидуалистического и бездушного «наполеоновского» принципа, который он считает основным качеством «современного человека».

Пушкин часто возвращается к образу Наполеона. Здесь не место раскрывать все стороны трактовки Пушкиным этого образа. Отметим только ту сторону, где критика Пушкиным Наполеона выступает именно как гуманистическая критика «героя», критика, противопоставляющая «человека» — «герою». С этой стороны Наполеон для Пушкина именно яркий образец презрения к людям и насилия над ними, носитель жесточкости «века». Еще в знаменитом стихотворении 1821 г. «Наполеон» мы читаем:

Смысл противопоставления «героя» «человеку» — «Будь прежде человек» — обнаруживается как противопоставление господина — «человеку», не имеющему власти.

Развитие этого противопоставления увидим мы и в «Медном Всаднике», и в «Анджело», и в своеобразной форме, в «Марии Шонинг», и даже в «Дубровском» и «Пиковой даме», и, конечно, в «Капитанской дочке», где оно разработано очень сложно и тонко.

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

воскликает «поэт» в стихотворении «Герой» (1830).

Однако Пушкин понимает, что все же именно во власти над «судьбой» раскрывается богатство самой человечности. Человек «героического» типа действительно «великий человек». Толстой очень многое заимствовал у Пушкина в трактовке проблемы «героя» и «человека». Но для Толстого Наполеон был самым маленьким человеком именно потому, что он хотел быть «героем», смотрел на людей, как на свое «орудие». Для Пушкина же действительно Наполеон принадлежит к числу «избранных» людей истории.

Глубина поисков Пушкина состояла в том, что он искал какого-то синтеза «героя» и «человека». Пушкин мечтает о действительно гуманном «властелине». Здесь — самое глубокое и сложное в пушкинских «поисках героя». Гуманизм Пушкина возникает как некое противопоставление «жестокости» исторического процесса, но в то же время сам этот гуманизм Пушкин хочет сделать исторически закономерным и необходимым.

Белинский искал разрешения этой проблемы в том, чтобы освободить массы от всякого «тиранства» и в революционной практике и теории найти почву для героя-человека. Героям «наполеоновского» типа Белинский противопоставлял «всеобщую личность» народного героя, героя-Вашингтона, скромного, простого человека, который в тысячу раз выше «гнетущей наглой силы». Пушкин не поднялся до революционности Белинского; поэтому он, с одной стороны, критикует «героев» с точки зрения гуманности, с другой стороны, хочет сделать «гуманными» этих же «героев», «тиранов», сделать власть «князя» человеческой.

Напомним читателю, что эта иллюзия Пушкина была свойственна в то время отнюдь не только дворянству, к которому принадлежал Пушкин, но и широчайшим массам в России и даже на Западе. От этой иллюзии долго не мог отделаться и Белинский; и в этой иллюзии была критическая сторона.

С необыкновенной настойчивостью и последовательностью Пушкин подчеркивает, что подлинное историческое величие состоит не в «постыдном величии» «надменности», а именно в гуманности. «Стансы» Николаю I являются лекциями Пушкина царю о пользе гуманности и выражением надежды, что царь усвоит эти лекции.

В «Стансах» 1828 г., написанных незадолго до «Анчара», призыв к гуманности звучит особенно сильно.

... не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он тайне милости творит.

И этот идеал «милостивого» царя противопоставит «презревшему человечество» «тирану», тому, кто «презирает народ» и «гнетет природы голос нежный». «Природы голос нежный» — очень важная формула, аналогичная формуле «сердца правоте».

Иллюзия Пушкина в отношении Николая I быстро рассеялась, и, быть может, «Анчар» уже был свидетелем краха этих иллюзий. Тем не менее попытки показать «тиранов» с «человеческой» стороны не оставляются Пушкиным до конца жизни.

В стихотворении «Герой» Пушкин ставит вопрос: кто же настоящий герой истории? Он не видит в истории других героев, кроме героев «власти». Но в чем поэт хотел бы найти героизм в них?

Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Величайший подвиг героя и «совершителя рокового» есть подвиг гуманности. Отнимите у героя гуманность, и он только «тиран». Интересно, что у Пушкина в 30-х годах все случаи положительного изображения «князей» и царей всегда дают «тиранов» не в тот момент, когда они совершают акты «власти», а тогда, когда они совершают акты гуманности. На этом основано стихотворение «Пир Петра Великого», являющееся коррективом и дополнением к «Медному Всаднику». «Прощение» и «примирение» воспеваются здесь Пушкиным, как самый поэтический момент деятельности Петра. На этом основано изображение Екатерины II в «Капитанской дочке». И в особенности на этом основана поэма «Анджело». В «Анджело» ярко развернута и гуманистическая критика «власти» и мечта Пушкина о действительно гуманной власти.

«Анджело» обычно почти совершенно обходится при анализе творчества Пушкина 30-х годов. Сам Пушкин, однако, придавал очень большое значение этому произведению.

«Анджело». Человек и общественный «закон»

В «Анджело» гуманистическая критика власти и мечта о гуманной власти переходит в критику жестокости, античеловечности традиционного общественного «закона» и в утверждение высшей законности прав человека на свободную жизнь, на счастье, на человечность.

Кто такой Анджело? Анджело — это «тиран», носитель «формальной» и бездушной необходимости, чистого принципа «власти». Дук — носитель противоположного принципа. Поэтому в этом властителе нет ничего от «настоящего» «князя». Он был просто

...предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук.

Эта черта Дука, однако, противоречит задачам власти.

Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.

Другое дело Анджело, «муж опытный, не новый в искусстве властвовать».

Стеснивший весь себя оградю законной,
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной..

В чем заключается «преступление» Клавдио? Он ведь готов жениться на той, кого он «обольстил». Он «виноват» только тем, что уступил «природы голосу нежному». Сам Клавдио — типичный пушкинский «жизнелюбец», и «эпикуреизм» Пушкина именно в этом образе раскрывается как благороднейший гуманизм.

.... земля прекрасна
И жизнь мила...

Самая худшая земная жизнь

....будет раем
В сравненье с тем, чего за гробом ожидаем!

Вот суть мировоззрения Клавдио. Самоцепность человеческой жизни, земной, реальной, самой простой, самой внешне не «героической», но имеющей за собой «правоту сердца», «природы голос нежный», право на стремление человека к счастью, радости, самой реальной, чувственной и, здесь на земле, — право человека быть человеком.

... Уж если будет грех счастья от смерти брата,
Природа извинит.

«Человеческая природа — вот оправдание всего», «К дьяволу ярым долги!» Кто это говорит? Клавдио? Нет, Беллинский! С другого конца по-другому (разницу мы дальше укажем), но Пушкин объективно подошел здесь к великим идеям Беллинского и всей передовой демократии его времени о праве каждого человека на земное счастье, на удовлетворение своих человеческих потребностей.

А небо оставим мы
Ангелам и сорокам (Гейне.)

Конфликт Клавдио и его прав с Анджело выступает как конфликт прав конкретного, земного человека с «жестокостью» тиранни принудительного «государственного закона» вообще. Анджело действует не о себя лично. Его тиранния не «патриархальная», так сказать, чисто «личная», а тиранния, опирающаяся на закон, подавляющая «природу» во имя «закона». Этот узкий, бездушный человек был как бы воплощением

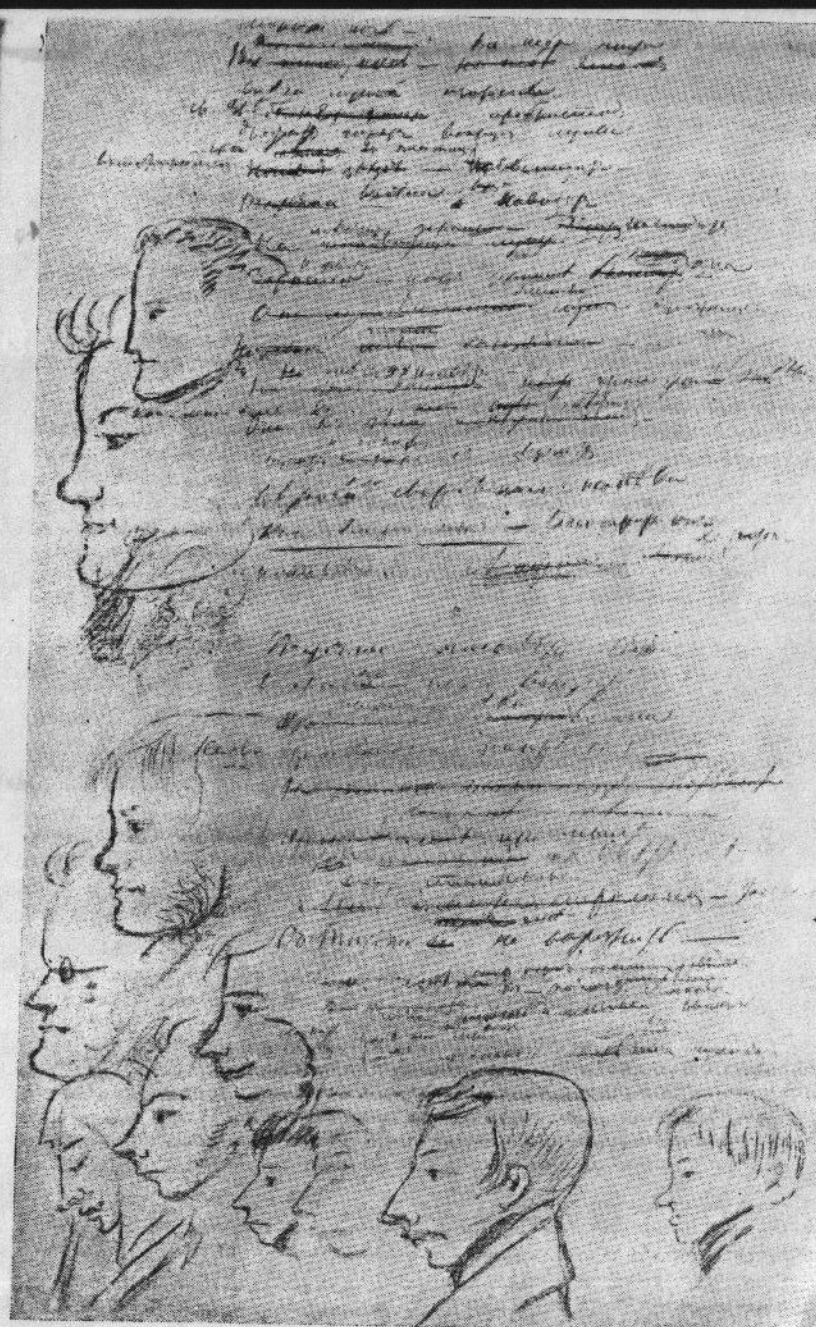


Рис. Пушкина. Профили Пестеля, Пуцина, Пушкина, Вяземского, Кюхельбекера, Рылеева (на черновике строф 9—10 V гл. «Евгения Онегина», январь 1826 г.)

«закона», «государственного» начала принуждения человека человеком в эксплуататорском обществе, которое так великолепно сумел показать в его античеловечности еще Софокл.

И вот ход вещей показывает, что эта чистая «законность» на деле есть самое ужасное «беззаконие». И основной закон, который нарушает Андже́ло, есть закон гуманности, человечности. На этом построено все движение поэмы.

Добрый Дук был плохим властителем, но хорошим человеком. Как раз отсутствие всех качеств «властелина» и «самодержца» составляет лучшее в нем как во властелине и самодержце¹.

Именно служение закону сейчас же приводит к ряду «казней». Из государственных «законных» соображений стремится Андже́ло примерно покарать Клавдио. Само лицемерие его вытекает из того, что он хочет удовлетворить свою страсть, свой «голос природы», но так, чтобы закон не пострадал. Отсюда — его вдвойне гнусный, бесчеловечный поступок: приказ о казни Клавдио, несмотря на то, что Изабела, как ему кажется, выполнила его условия. Очень глубокий штрих, показывающий не бессмысленную жестокость Андже́ло, а именно его искреннюю преданность закону: страсть удовлетворена, и закон не пострадал! В глазах Андже́ло это оправдывало его, а не обвиняло. Из служения «закону» вытекает двойная жестокость и подлость.

Закон, гнетущий человеческое, — это только формальный, внешний, враждебный человеку закон и, поскольку он осуществляется все же людьми, он приводит к лицемерию и произволу, к тирании власти. Лицемерие Андже́ло — лицемерие самого принципа такой общественной «власти» (той власти, которую знал Пушкин), при которой один человек ставится над другим как гнетущая сила. Отсюда — «жестокость и обида» этой власти. «Дискуссия» с Андже́ло — это дискуссия именно о «милосердии». И здесь защита «голоса природы» перерастает опять-таки в защиту прав человека вообще, прав даже «грешного» с точки зрения существующего строя человека («милость к падшим призывал»). Ясно, что эта защита была объективно-демократической и что она была именно по традиционному общественному закону «откупщиков» и «генералов».

Конфликт Клавдио — Андже́ло дополняется конфликтом между Клавдио и его собственной сестрой и заступницей — Изабелой. Изабела выступает перед Андже́ло, как проповедник милосердия. Она, казалось бы, глубоко человечна. И действительно, она человечна, привлекательна. И все же она тоже готова осудить брата на смерть во имя жестокого и формального тиранического закона. Этот «жестокый» закон — закон ее христианской «чистоты». В ответ на слова Клавдио, умоляющего ее уступить домогательством Андже́ло и тем спасти его, в ответ на его аргументацию:

Природа извинит,

¹ Вспомните «утопию» идеального «помпадур» у Салтыкова. Идеал помпадур — помпадур, который по возможности не «помпадурствует».

Изабела осыпает его бранью и заявляет:

Умри. Когда бы я
Спаси тебя могла лишь волею моею,
То все-таки б теперь свершилась казнь твоя.

И эта жестокость самой Изабеллы вытекает именно из ее религиозных убеждений. «Государство» и «религия», «мирская» и «небесная» власть показаны Пушкиным как равно жестокие и бездушные.

Очень глубоко и тонко (хотя и наполовину бессознательно) Пушкин показывает отличие между христианским принципом «милосердия» и подлинной гуманностью. Христианское «милосердие», собственно говоря, никак не может оправдывать «природы голос нежный», принимать ее «извинения». И Андже́ло легко разбивает аргументацию Изабелы, пока она остается на почве религиозного закона.

Изабелла.
Почему же
Простить нельзя его?
Андже́ло.
Простить? Что в мире хуже
Столь гнусного греха? Убийство легче.
Изабелла.
Да,
Так судят в небесах, но на земле когда?

Изабела забывает, что она монашка, и прямо ссылается на земное, а не «небесное», «христианское» милосердие, на права «земного» человека.

Тут ее и ловит Андже́ло. Он предлагает ей пожертвовать своими «небесными» правами во имя земной человечности и принять на себя грех перед формальной законностью уже «небесного» закона, нарушить свой долг перед ним. И в Изабеле монашка — носитель формального традиционного закона — побеждает человека.

Брат, лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.

Андже́ло отвечает ей (и вполне резонно):

За что же казалось тебе бесчеловечно
Решение суда? Ты обвиняла нас
В жестокосердии. Давно ль еще? Сейчас
Ты праведный закон тираном называла,
А братний грех едва ль не шуткой почитала.

Здесь Изабела вынуждена полностью капитулировать, ибо она по сути стоит на той же почве, что и Андже́ло.

Прости, прости меня. Невольно я душой
Тогда лукавила. Увы! Себе самой
Противуречила я, милое спасая
И ненавистное притворно извиняя.
Мы слабы.

Конечно, Изабела человечнее Андже́ло. Но ее человечность представляется ей как ее слабость. Она, как гуманный человек, любящая

сестра, как носитель действительного, земного человеческого чувства, противоречит себе как монашке, как почительнице «тирании закона». «Жестокость» века выражена в государственном законе Анджело и в религиозном законе Изабелы, несмотря на огромную разницу их личных качеств. И что извиняет Изабелу, что делает ее действительно человеческим и привлекательным женским образом, так это именно то, что она считает своей слабостью, — природная настоящая доброта. Эта доброта, это действительно человеческое к концу поэмы явно побеждает в Изабеле и поэтому она тоже просит Дюка простить Анджело. Изабела к концу поэмы восприняла мораль всей пьесы: гуманной терпимости к людям, законности самой человечности.

Критика жестокости «небесных» «властей» не нова для Пушкина. Мы видим ее еще в «Гаврииле», где «лукавый бес» разворачивает аргументацию, до страшной напоминающую рассуждения Клавдио:

... Тирани несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюби,
Ее хранил для самого себя..
Какая честь? И что за наслажденье?

Но теперь Пушкин ставит вопрос не «что за наслажденье?», а «что за человечность?». Право на наслажденье, на земное, чувственное счастье расширяется, углубляется, включает в себя «право на гуманность».

«Вина» Клавдио, уступившего «голосу природы», таким образом в поэме оправдывается не только по отношению к жестокости земного закона Анджело, но и по отношению к жестокости самого «божественного» милосердия. Ход вещей приводит к торжеству гуманности и голоса природы над «жестокостью» и «тиранией» закона, религиозного и государственного, вне людей находящегося, выступающего как враждебная им сила, хотя и созданного в сущности ими самими.

Каким же образом происходит эта победа? Ответ на этот вопрос открывает нам другую сторону «Анджело».

Если бы Анджело нашел в себе, как Изабела, силу самому быть верным служителем закона и подавить в себе «голос природы», то казнь Клавдио совершилась бы и тирания закона восторжествовала, несмотря на всю доброту «суда». Ведь началась поэма с того, что Дук отказался от своей «доброты», поскольку она вступила в противоречие с сущностью власти и закона. Дук мог вмешаться и спасти Клавдио только потому, что сам Анджело уступил «голосу природы». И в этом и состоит Немезида Анджело.

Лицемерие Анджело возникает именно как результат невозможности для живого, действительного человека поступать как стоящий над людьми «рок» или «закон». Его внезапная страсть к Изабеле есть именно «голос природы», как бы карающий его за нарушение «прав природы» других людей. Гуманность Пушкина выступает здесь как трагическое возмездие формальному закону за преступление против высшего закона — закона человечности. Противоречие между «человеком» и «законом» в самом Анджело и создает его лицемерие. Как бы ни «стес-

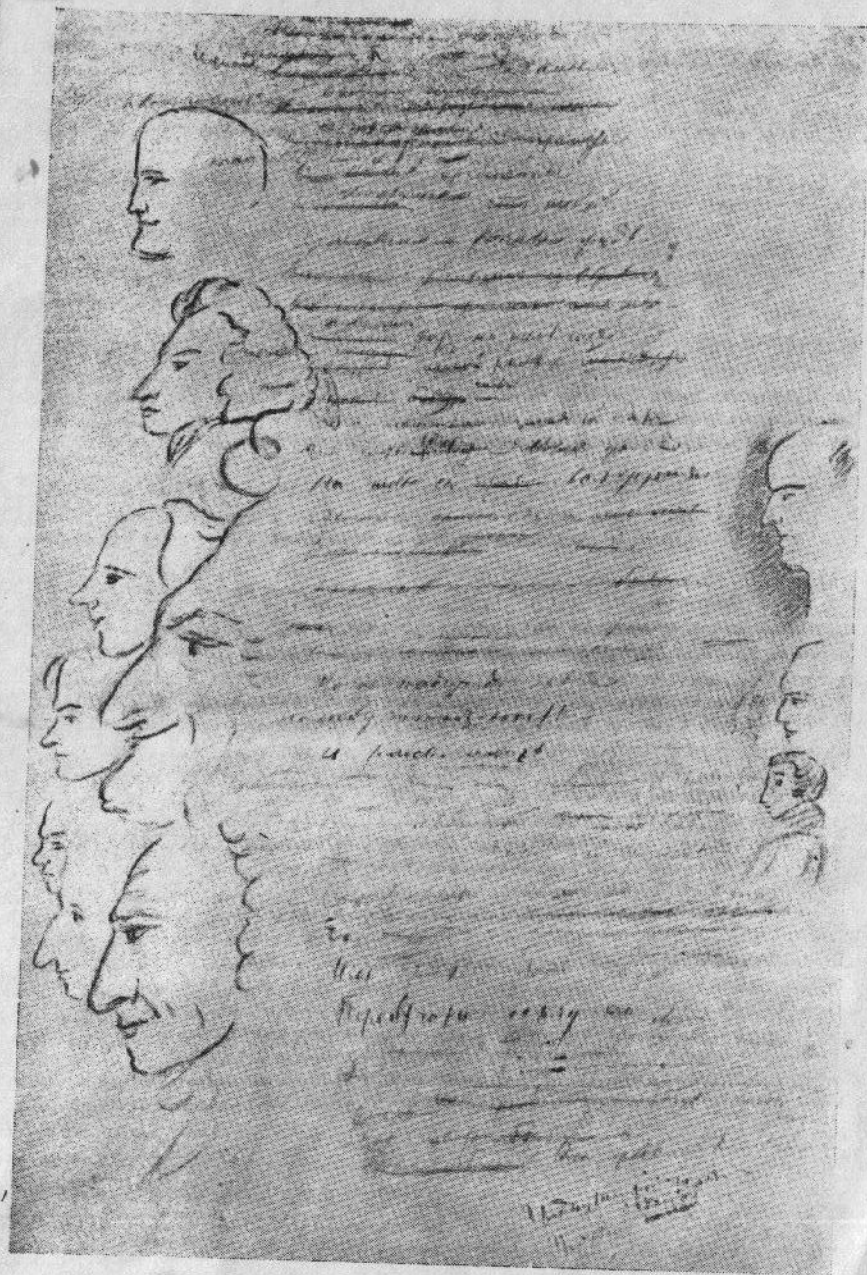


Рис. Пушкина. Профили Пестеля, Пушкина, Рылеева, Мирабо, Вольтера, неизвестных лиц (на черновике 5—6 строк V гл. «Евгения Онегина», предпол. январь 1826 г.)

нил себя» оградой законов Анджело, рано или поздно человеческое прорвется у него, и прорвется в форме уродливой и карающей его страсти, уже не как «нежный», а как грубый крик подавленной природы, подобный бунту или «наводнению».

Грех Анджело поэту есть не только грех, но и его оправдание.

... Я волю дал стремлению страстей

(т. е. страсть разрушила «ограду»). То же самое сделал и Клавдио, но больше. Того же самого не может избежать никакой человек, поскольку он человек.

Он человечеству свою лишь отдал дань, —

говорит про Анджело его жена.

В этом был грех Анджело и в этом — его оправдание. Кто спас его? Реальное человеческое чувство, страсть, которую он возбудил в несчастной женщине, покинутой им жене.

Всем ходом поэмы Пушкин показывает, что гуманная терпимость противоречит самому принципу власти человека над человеком и шире — всякому жестокому формальному, «внешнему» по отношению к человеку «закону». Всем ходом поэмы Пушкин показывает, что человеческое не может быть подавлено и уничтожено, что оно рано или поздно возьмет свое и что единственный путь властителя быть настоящим человеческим властителем, это — не подавлять «природы голос нежный». Пушкин утверждает, таким образом, самоценность «земного» человека с его самыми простыми желаниями и стремлениями.

Гуманная терпимость Пушкина имеет поэту глубоко критическое, политически критическое содержание. Но это критическое значение гуманизма Пушкина вступает в известное противоречие с субъективной тенденцией его. В самом деле: Пушкин противопоставляет «доброе Дука», хорошего, гуманного властителя, жестокому Анджело, в личных качествах «Дука» он ищет путь синтеза «закона» и «человечности»!

Эта тенденция Пушкина тесно связана с его политическими взглядами и надеждами 30-х годов.

Иллюзорность этой тенденции подтверждается логикой образов самой поэмы. Ведь в начале поэмы мы узнаем, что добрый Дук с задачей власти не справился именно потому, что был добр. Потом оказалось, что безвластие Дука все же лучше порядка, установленного Анджело. Но нет никаких данных предполагать, что Дук теперь справится с тем, с чем он не мог справиться раньше.

В конце поэмы мы, собственно говоря, возвращаемся к исходному положению, которое уже было признано неудовлетворительным.

Сама победа гуманности над тиранией закона в сущности иллюзорна, ибо остается в силе старый закон. Спасение Клавдио, естественно, приобретает характер случайности. Добрый Дук действует, как *deus ex machina*. Счастливый конец поэмы художественно не оправдан.

Таким образом, поскольку Пушкин хочет наметить положительное решение проблемы — сочетание существующего общественного закона

и человечности, — оно иллюзорно и только снижает художественную ценность «Анжелло». Иллюзии Пушкина вступают в противоречие с его реализмом. Поскольку же вопрос ставится реалистически, он остается открытым. А отсюда неизбежна некоторая тенденция к примирению с тем самым, что Пушкин столь глубоко разоблачает. Анджело наказан и прощен. Такое наказание и частичное «прощение» тиранов у Пушкина очень часто.

Вернемся к теме Наполеона. Сам Наполеон все же тоже только человек, и как человек он не властелин судьбы, а лишь ее орудие. Он сам тоже только «двуногая тварь», и судьба в конце концов поступает с ним «по-наполеоновски», так, как Наполеон поступал с миллионами «двуногих тварей». И когда это возмездие происходит, обнаруживается человеческое в тиране. Как в «Короле Лире», страдания и несчастья, удары судьбы обнаруживают в короле «бедное, голое двуногое животное», ту же «двуногую тварь» — так же обнаружилось оно другим путем, по-другому, и в Анджело.

И до последней все обиды
Оплачены тебе, тиран!
Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душею изгнанья
Под сенью чуждою небес,
И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит.
... Где иногда, в своей пустыне,
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Так «сей холодный кровопийца», как определяет его Пушкин в другом месте, получил прощение. Пушкин так и не сумел от гуманной терпимости подняться к революционной гуманной нетерпимости, и отсюда неизбежное противоречие у него между глубокой и правдивой постановкой вопроса и слабостью «положительного» решения.

Однако в пушкинском гуманизме была и другая, главная сторона. Она вела не к прощению тирана, а к возвеличению человека против тирана, т. е. к демократизму.

С другой стороны, и в самых иллюзорных поисках Пушкиным гуманизма и «народного» «князя» имелось глубокое, истинное зерно. Пушкин, выступая против тиранической власти, вовсе не стоял, однако, на каких-нибудь принципиально антигосударственных и т. п. позициях. Гуманизм Пушкина был полон глубокого понимания необходимости власти и даже насилия в известных условиях. Поскольку, однако, известные Пушкину общественные формы не давали образцов той вполне человеческой власти, к которой он стремился, а революционного выхода вперед Пушкин не видел, он вынужден был или иллюзорно надеяться на гуманизацию существующей «власти», или ограничиваться трезвой кри-

пила в противоречие со «священным принципом» его класса — принципами «злата» и «булата»?

Тазит, однако, не противопоставляет «жестокости», «тирании» законов своего общества нового общественного закона. Как и сам Пушкин, Тазит до этого не подымается, и тем трагичнее его положение (что замечательно понял еще Белинский), ибо объективно Тазит выражает именно переход к новому «Закоу».

Тазит, судя по сохранившимся наброскам, ведет дальше жизнь изгнанника и изгоя и ищет выхода в «смирной» личной жизни.

[Один] и сир, давно живу я,
Благослови любовь мою.
Я беден — но могуч и молод,
Мне труд легок

и т. д.

Эта программа не так уж далека от программы «бедного Евгения» в «Медном Всаднике». И мы видим, как Тазит приобретает черты «низового» демократического человека. Его отец богат и могущественен. Но Тазит рвет с миром «шашки» и «злата» во имя какого-то смутного, неосознаваемого им стремления к действительной человечности. Он сам не осознает ясно этого стремления. Но оно уже отталкивает его от «закоу» его мира.

Он только знает без трудов¹
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с ногайскими быками
И с бою, взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать.

И это стремление делает Тазита изгоем в своей среде. Хотя Тазит и не рвет со старым «законом» сознательно, но он объективно вступает уже на совершенно новый путь, путь демократического «маленького человека».

Не надо видеть, конечно, в Тазите какого-то символа судьбы самого Пушкина. Но образ его помогает наглядно обнаружить, как гуманизм Пушкина приобретал характер глубокой демократической критики существующего «жестокон» общественного порядка, несмотря на то, что Пушкин не мог противопоставить этому порядку ни ясной перспективы другого общественного строя, ни даже решительного отрицания существующего.

Поскольку гуманизм Пушкина был направлен против «откупщиков» и «генералов» против «злата» и «булата», т. е. в конечном счете

¹ Здесь возникает на первый взгляд неожиданная параллель между Тазитом и людьми «моцартианского типа». Если, однако, читатель помнит наш анализ этого типа («Литературный критик» № 10), то параллель вполне понятна. И очень глубоко показывает Пушкин, что это «без трудов» приводит к разрыву с «трудом» «откупщиков» и «генералов» и к действительному труду — «Мне труд легок». Так и во всем творчестве Пушкина апология «моцартианского» человека, «гуляки праздного», перерастала в апологию человека трудовой жизни.

против феодальной и буржуазной эксплуатации человека человеком, постольку он приобретал иное, демократическое классовое содержание, каковы бы ни были субъективные стремления и иллюзии Пушкина.

«Неоконченная поэма о Тазите» не дает еще достаточно материала, чтобы проследить конкретно этот процесс, но намечает, так сказать, его «схему», которая в различных вариациях воспроизводится во всех основных произведениях Пушкина 30-х годов, как до 1833 г., так и в особенности после.

Это — конфликт человечности, всякого подлинного человеческого стремления, чувства, искания, творчества с общественными условиями, общественными противоречиями, с традиционным «законом». И поскольку, вернее в той мере, в какой Пушкин остается на почве класса, «заведывавшего» этими условиями, этот конфликт часто выступает как конфликт между «человеком» класса и его «героем», между классовым долгом в различных вариациях — семейным, сословным, религиозным, государственным и т. д. — и живым «голосом природы», между «государственной» и «частной» или «общечеловеческой» жизнью, между рассудком и «сердцем», между «гражданским» и «личным» началом, наконец, между различными сторонами самих «гражданских» и «личных» начал, и т. д. и т. п.

Все эти вариации проследить, конечно, здесь невозможно, но все они объединяются основным противоречием пушкинского гуманизма.

Гуманистическая критика Пушкиным социальной практики «жестокон века» и своего класса не могла быть сама «бесклассовой». Вообще преодоление художником своей классовой ограниченности не означает, что он как-то становится над классами вообще. Становясь над своим классом, он объективно отражает конкретные демократические стремления своего времени, которые в той или иной степени были стремлениями всего прогрессивного человечества.

«Медный Всадник» и права «маленького» человека

«Медный Всадник» — вершина художественного творчества Пушкина после «маленьких трагедий». Это — одно из величайших произведений мировой литературы в целом.

В «Медном Всаднике», как в фокусе, сосредоточена вся основная проблематика Пушкина 30-х годов.

Отношение прав человеческой личности к судьбе, истории и к «совершителям роковым», соотношение исторической необходимости и человечности, — связь прав человека «вообще» и прав конкретного маленького человека, гуманистическая критика «судьбы» и «власти», исторического «закона» вообще и проблема гуманистического «примирения» — все эти вопросы так или иначе поставлены в «Медном Всаднике».

Много писалось о «Медном Всаднике». Глубже всех понял его Белинский. Белинский правильно указал, что в «Медном Всаднике» поставлена проблема соотношения «частного» и «общего», прав человеческой личности и законов исторической необходимости, «разумной действительности».

В форме противоречия личности и «общего», человека и «героя», т. е. личности, воплощающей «общее», Белинским ставился вопрос о противоречии между многомиллионными народными массами, введенными на положение страдающих объектов истории, и господствующими классами, теми, кто якобы «творил» и «правил» ходом истории. По-своему, иначе чем у Белинского, но этот же вопрос волновал и Пушкина. Пушкин не мог не видеть какой-то «правоты» исторической необходимости, хотя она и сталкивалась с «сердца правотой», тоже необходимой и «законной». И поскольку Пушкин не мог перейти на точку зрения революционной демократии, он считал, что объективный исторический закон осуществляют «властители судьбы» господствующего, существующего строя, хотя по-своему объективны и законы права маленького, не делающего историю человека. Эта иллюзия, впрочем, была в известной степени массовой иллюзией его времени. Ее не могли преодолеть даже демократические писатели, пока они не становились на позиции революции. Представление же, что историческую необходимость в русской истории воплощал Петр I, было в эпоху Пушкина особенно распространено (и в какой-то степени здесь была доля истины).

Для Пушкина Петр I был «революционер и уравнитель», воплощение исторической необходимости и исторического прогресса, воплощение «судьбы».

О, мощный властелин судьбы!

вот суть Петра.

Прогрессивность его дела подчеркивается Пушкиным (во «вступлении»). И в то же время Пушкин подвергает критике эту «разумность» совершенно в тех же тонах и смыслах, как он подвергает критике «разум» «рока» и «власти» вообще.

Пушкин подчеркивает неопределенность, неясность самой перспективы развития России, воплощенной в образе Петра.

Куда ты скачешь, гордый конь
И где опустишь ты копыта?

Роль Медного Всадника — двусмысленна («над самой бездной»). Пушкин подчеркивает внутреннюю противоречивость этого развития, выраженную в «бунте» «финских воли» против Петра, в относительности власти властелина судьбы. И, наконец, Пушкин подчеркивает жестокость этих исторических противоречий «судьбы» по отношению к «правам» отдельного «частного» человека, т. е. по отношению к самым «общим» правам человека.

Образы Медного Всадника и петровского Петербурга, образ Евгения и образ наводнения — вот три основных образа, в движении которых раскрывается эта коллизия.

«Медному Всаднику» очень часто давались разные символические толкования, в частности, образу наводнения. Правильнее всего, конечно, в наводнении усматривать символ... наводнения. Ведь на борьбе со стихией природы («море, древний душегубец») тоже раскрывается и бо-



Рис. Пушкина. Казнь декабристов; крепостной вал; виселица с пятью телами, тот же рисунок повторен внизу страницы (черновик «Евгения Онегина», предпол. 26 июля 1826 г.)

лее общая тема борьбы человека с «фортуной», «судьбой». Ведь в этом смысле наводнение, будучи образом именно наводнения, а не декабризма и т. д., само собой приобретает то расширительное (а не аллегорическое или наивно символическое) значение, которое имеет всякий лодлинно художественный образ. «Наводнение» входит здесь в ряд характерных для Пушкина изображений моментов исторических и «природных» «катастроф» от «метелей» до «бунтов», раскрывающих стихийность природы и истории. (Отсюда настойчивое наделение Пушкиным наводнения эпитетами «битвы», «бунта» и т. д., отмеченное исследователями.)

Медный Всадник победил «стихию» «финских волн», но полная ли это победа и какой ценой она досталась? Эта победа, во-первых, не полная, так как «побежденная стихия» никак не желает «усмириться». Эта победа достается, во-вторых, слишком дорогой ценой, так как борьба между «властелином судьбы» и «стихией» выступает как разрушительная и трагическая катастрофа по отношению к правам конкретного человека, и сам «властелин судьбы» перестает быть человеком.

Как дан образ Петра? Это уже не человеческий образ. Он — Медный Всадник. Он — «кумир». Он — истукан. Его воля — «рок о в а я» (сравни про Наполеона — «совершитель роковой»). И Наполеон — это не случайное совпадение — тоже «всадник». Петр — «ужасен», но в то же время и «строитель чудотворный» (сравни в «Стансах» — «на троне вечный был работник»). Но «строитель» и герой истории не совпадает в нем с человеком.

Сравните изображение Петра еще в «Полтаве»:

... Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.

«Ужасен» и «прекрасен» «грозный царь» и в «Медном Всаднике» и здесь он еще более ужасен, как ни прекрасно его творенье¹.

На другой стороне — образ Евгения. Он не «герой», но зато и не «тиран». У него мало «ума» и «денег». Он не «чудотворный» «строитель». Он просто человек. По отношению к судьбе он не «властелин», нет, куда там, — он игрушка в ее руках. Да, Евгений только человек и, как таковой, он «маленький» человек, «смиранный» герой. Но он все-таки человек, настоящий, не из меди, а из крови и плоти.

Как же дан Евгений? В этом образе ярко выступает демократическое содержание гуманистической критики «судьбы» и «властелинов судьбы» Пушкиным.

¹ Впрочем так ли уж прекрасно и творенье? В другом месте Пушкин сомневается и в этом:

Город пышный, город бедный.
Дух неволи.....
... Скука, холод и гранит.

Здесь уже своеобразный шаг к Некрасовскому Петербургу, «роковому» (эпитет Некрасова) городу. Это сомнение, однако, не есть отрицание действительной прогрессивности дела Петра.

Евгений — потомок когда-то знатного, но теперь обедневшего рода. Это важно с точки зрения субъективных идей Пушкина 30-х годов. Но объективно в образе Евгения существенно не то, что он обедневший дворянин, а то, что он вообще «маленький человек», низовой человек.

... был он беден... трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь.

Пафос «независимости» и «чести» был главным жизненным пафосом самого Пушкина. Через всю его биографию проходит это стремление: «Личное достоинство» человека, его «самостоянье» (выражение Пушкина) было для Пушкина величайшей ценностью. И основой его он считал именно «независимость и честь». Разочаровавшись в политических планах дворянской вольности, он, однако, именно пафос свободы человека, выражающейся в «независимости» и «достоинстве», кладет в основу своего гуманизма. Ходом развития, силой своего реализма он убеждается, что «независимость и честь» не являются привилегиями дворянского человека.

Правда, и в публицистике Пушкина 30-х годов «независимость и честь» — отличительные сословные признаки дворянства, характерные, по Пушкину, для него именно потому, что дворянин не обязан быть «рабом нужды, забот», добывать себе кусок хлеба. И все же Евгению как человеку труда и нужды противопоставлены

... праздные счастливыцы
Ума недалёкого ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!

Пушкин, таким образом, от опозитизации «праздных счастливыцев», игравшей столь большую роль в его раннем творчестве, переходит к защите человека, трудом доставляющего себе «независимость и честь». Эта идея утверждения личного достоинства человека через труд и даже через самую бедность, поскольку она отделяет человека от «тиранов», у Пушкина 30-х годов не случайна. «В обитель дальнюю трудов и чистых нег» хочет он, «усталый раб», «бежать» (1836). Стихотворение «Новоселье» (1830) целиком посвящено этой теме.

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Ты счастлив: ты свой домик малой,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня.

В стихотворении «Отцы-пустытники и жены непорочны» (1836) «дух праздности унылой» вместе с «любоначалием» протизопоставляется гуманности, человечности.

Связь гуманизма Пушкина с этой апологией «свободного труда» в «малом домике», как мы видели выше, дана и в «Неоконченной поэме

о Тазите». Как увидим дальше, имеется она и в «Капитанской дочке». Своеобразный синтез «свободы», «трудоу» и «чистых нег» в «домике малом» намечен отчасти и в мечтах Евгения.

..... Я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, шей горшок
Да сам большой... Чего мне боле?

«Я сам большой... Я — мещанин», говорил, как известно, Пушкин и о себе.

Чрезвычайно важно противопоставление «труда» и «чистых нег» «рабству». Здесь в «малом домике», «обители дальней», человек может чувствовать себя «независимым», свободным, может чувствовать себя самостоятельным человеком, а не «усталым рабом», «поденщиком нужды, забот», рабом «злата» и «булата». Здесь он спасается от «враждебной власти». Недаром же Пушкин советовал шутиливо Н. И. Куликову строчку: «друзей, начальников, врагов» (и, кстати, как раз в 1833 г.) написать так: «друзей, начальников-врагов», ибо «начальники-враги — слова однозначные». Здесь в самом труде и нужде, в самом, казалось бы, «смирнном» существовании человек становится «сам большой».

Вопреки стихотворению «Чернь», «поденщик»-то, оказывается, и может стать выше «нужды» и «забот» именно тем, что он наполняет свою «поденщину» человеческим содержанием — любовью, дружбой, искусством, трудом. «Лень» же, «бездействие счастливое», не только не может спасти человека от «забот», но сопряжено с ними.

Так гуманистическое развитие «моцартианства» выводит Пушкина за пределы мировоззрения не только «откупщиков» и «генералов», но и «счастливых праздных». Дворянская апология «независимости и чести» в художественных образах Пушкина выходит за собственные пределы, приобретает демократическое содержание.

Это не значит, что Пушкин 30-х годов стал каким-то идеологом «мещанства» или «деклассации» «старинного» дворянства, превращающегося в «третье сословие», и т. д. Но это значит, что Пушкин приходит к утверждению демократической «низкой жизни», на деле единственно человеческой, против действительно низкой жизни «откупщиков» и «генералов» и их «властелинов судьбы». «Мы все глядим в Наполеоны»? Нет, не все — отвечает Пушкин. Там, за пределами моего собственного класса, среди бедности и труда пафос личного достоинства не имеет этого уродливого «наполеоновского», эгоистического и тиранического извращения.

Не надо думать, что Евгений для Пушкина — идеал человека. Отнюдь нет. Пушкин подчеркивает ограниченность его желаний и мечтаний, его смиренность. «Свобода» и «человечность» достигаются Евгением в очень узких пределах путем самоограничения.

Конечно, эта смиренность ни минуты не удовлетворяет Пушкина. И тот «свободный труд», о котором мечтает Пушкин в «Новоселье»,

вовсе не совпадает с мечтами Евгения. Отсюда некоторое оправдание Пушкиным Медного Всадника, русской дворянской государственности, общественного «закона» и, как думалось Пушкину, закона «судьбы». Медный Всадник прав против ограниченного «безумия» Евгения. История в общем за Медного Всадника (хотя и с большой оговоркой, о которой дальше). Поэтому и самоограничение Евгения — его не спасает. Свобода в «малом домике» иллюзорна, и этим Пушкин наперед критикует иллюзию, выраженную в стихотворении «Пора, мой друг, пора»¹. Но на стороне Евгения гуманность. Именно самое «незначительное», самое не «историческое», «смирнное» счастье Евгения и Парашки, их человеческое чувство, как бы оно ни было ограничено и «частно», — все же самоценно, и тут-то, собственно говоря, и есть самое подлинно человеческое и непреходящее. На стороне Медного Всадника — правота «рока». На стороне Евгения — «правота сердца», «природы голоса нежный», та самая правота, которую мы видели у Клавдию и (по-другому) у Тазита. Но как далек Медный Всадник от доброго Дука! Добрый Дук был иллюзией, и поэтому он художественно не удался Пушкину; Медный Всадник был реальностью «жестокости века». В нем воплощена уже без оговорок «тирания» общественного и исторического «закона».

Глубина гуманистической критики Пушкина состоит в том, что он берет наиболее выдающегося представителя русского самодержавия, человека, сыгравшего действительно прогрессивную роль, и, отрицая этой роли, в то же время показывает его бездушие и жестокость.

С другой стороны, у Пушкина нет и реакционной идеализации «маленького человека», которую мы увидим позже у Л. Толстого и особенно у Достоевского. Пушкин с горечью и полуиронически раскрывает мечты Евгения: «выпрошу местечко» и т. д. Путь Макара Деушкина меньше всего мог привлекать Пушкина. Поэтому поэма не является апологией и Евгения. В поэме защищается лишь человеческое достоинство Евгениев, всякого человека против «кумиров» и разоблачается в то же время и иллюзия Евгения.

Пушкин не может выйти из «роковой», неразрешенной для него дилеммы. Каков путь человека, чтобы быть «самому большим», чтобы быть человеком? Дорога «столбовая» — это путь откупщика или генерала, корысти или насилия, с неизбежными его последствиями — уродливым индивидуализмом, или превращением в истукана, одним словом, путь власти, «тиранства», «жестокости». Иной путь — отказ от пути власти, от претензий на управление людьми и историей, примирение с ролью объекта «судьбы», но при этом надо создать себе какой-то «уголок», «обитель», хотя бы и ценой самоограничения, смирения, отказа от «прихотей», уголок, в пределах которого человек все-таки сохранял бы «независимость и честь». Эта программа мирилась с консервативными политическими взглядами, но в то же время, как действительно гуманистическая программа приводила к своеобразной критике

¹ См. «Литературный критик» 1936 г. № 10, статью Александра о «Медном Всаднике».

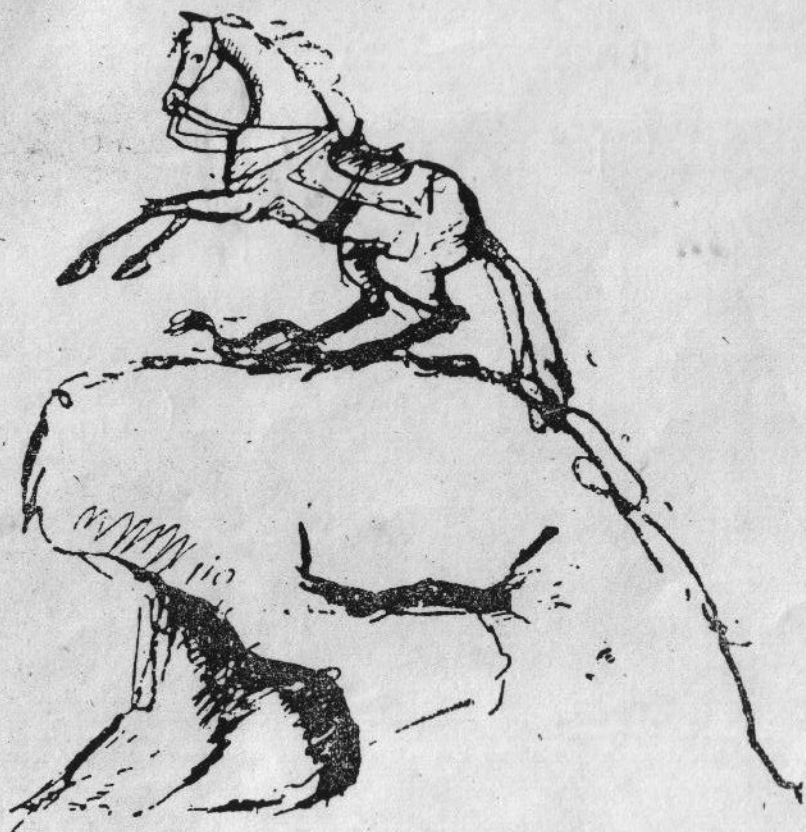


Рис. Пушкина. Конь на скале (памятник Фальконета. На черновике Гасу-ба, предпол. 1829 г.)

господствующих классов и утверждению демократического человека. Был еще путь восстания против «кумира», но этот путь казался обреченным на неудачу. «Быть повешен, как Рылеев». В то же время иллюзорность и ограниченность пути «смирения» показал сам Пушкин.

Медный Всадник строил не для людей, а только для «державы». Он обрек Евгения на самое маленькое, приниженное существование. Более того. Даже и этого, даже «щей горшка» и «Параши» он обеспечить Евгению не может. «Побежденная стихия» бунтует против него, и в этом разрушительном конфликте гибнет и та единственная возможность человеческой жизни, независимости и чести, которую Медный Всадник Евгению предоставил. Наводнение, а не Всадник, погубило Парашу. Но виноват именно Всадник, «совершитель роковой», кумир, тиран, и Евгений правильно адресует в своем бунте. В петровском Петербурге, в твердые дворянской «власти», «государства», нет места даже для наималейшего человеческого счастья и свободы, а есть только «холод и гранит». Сама власть Медного Всадника относительна

и не безусловна. Поскольку «властелины судьбы» сами люди, они тоже рано или поздно оказываются бессильны перед стихией природы и истории.

С божьей стихией
Царям не совладать.

Из других произведений мы даже знаем, что большинство из них постигает рано или поздно за их жестокость «народная Немезида». Она постигла Бориса Годунова за то, что он нарушил во имя власти нравственный закон. Она постигла Наполеона. Медный Всадник тоже не может прекратить волнение побежденной им стихии, и поэтому-то решается бедный Евгений на «бунт» против него.

Катастрофа рождает сомнение «маленького человека» в самом смысле жизни, в самой «разумности» судьбы человека.

... Или вся наша
Жизнь только сон пустой,
Насмешка рока над землей.

Это отчаяние может перейти в «бунт», обличенье («ужо тебе!»), но программы бунта нет. Жизнь не «сон пустой», не трагическая противоречивость реальности. — Эта точка зрения не Евгения, а Пушкина. «Разум» жизни — неясен, противоречив.

Это, как увидим дальше, отнюдь не уничтожает у Пушкина веры в «жизнь» и силы самого «маленького» человека. Но программы и почвы «бунта» он так и не нашел, хотя и чувствовал, что когда-то придет «младое, незнакомое племя», и жестокому, железному веку придет конец.

Бунт Евгения против Медного Всадника «безумен», но пользуется глубокой симпатией Пушкина. В самом «смирном» Пушкин поэтизирует мятежное, хотя оно и «безумно» и жалко, робко, бессильно. Хорошо подметил это Щеголев: «Нет нужды, что робкая вспышка бунта раздавила самого мятежника (неточно только, что она раздавила Евгения. Евгений бунтует уже в знак протеста против того, что его давит. «Повредить» поэтому бунт ему уже в сущности не мог. — А. М.). Важно то, что раб не умирает покорно у «ног непобедимого владыки». Настоящий низовой человек, как бы он ни был «мал», не может в той или иной степени не бунтовать в защиту своего человеческого достоинства, не противопоставлять его Медному Всаднику!

Кроме законов судьбы есть еще закон человечности, который так же общ и необходим по-своему, как «судьба». Симпатии Пушкина на стороне «человечности». Но оба по-своему законны и равноправны. И бунт «человеческого» против «судьбы» как будто безнадежен, по крайней мере сейчас.

Закон «прав» тем, что он — закон, человек — тем, что он человек. Выхода нет. Пушкин, правда, призывает в конце вступления к «примирению». Но верный своему глубокому реализму, сам в это примирение не верит. Вопрос остается открытым. Гуманизм Пушкина перерастает

в глубочайший демократизм, и в то же время Пушкин не может найти решения коллизий, а это ограничивает его демократические симпатии.

Судьба человечности

Тема «маленького человека» возникла у Пушкина еще до «Медного Всадника». В «Повестях Белкина» рассказан ряд человеческих историй в их соотношении с различными неожиданными происшествиями «судьбы» и с действиями людей «властного» и индивидуалистического типа. Сам Иван Петрович Белкин и ряд аналогичных ему персонажей даны Пушкиным полуиронически; тем не менее им показано, что и в этих принципиально рядовых, подчас полурастительных существованиях, имеются все человеческие возможности. Особенно существенен для нашей темы рассказ «Станционный смотритель». Станционный смотритель — типичный «объект» истории. И вот в его жизнь врывается роковое для него происшествие. Любимая дочь бежит, становится «блудной» дочерью, уходит от него в другой мир, совершает непростительный, с его точки зрения, грех. Но как ни ограничен и жалок станционный смотритель, — он отец. В нем горит подлинное, настоящее человеческое чувство, не эгоистическое, не корыстное, не «наполеоновское». И это его чувство оскорблено и унижено. Человек, похитивший его дочь, имеет на своей стороне силу, власть и даже любовь самой дочери. Все против него. И самая скорбь его кажется смешной и неразумной. Ведь, кажется, дочери его живется хорошо, — она счастлива, чего же ему надо? Недаром же Гершензон увидел в «Станционном смотрителе» «опровержение» морали станционного смотрителя. Однако дело не в ограниченности смотрителя, а в «правоте» всякого настоящего человеческого чувства, как бы ограничено оно ни было, и утверждении человеческого достоинства, «независимости и чести» «маленького человека».

И другая тема есть еще в «Станционном смотрителе», тоже очень типичная для Пушкина 30-х годов. Это столкновение «человеческого» с общественными противоречиями, с сословным неравенством. Ведь драма станционного смотрителя возникает именно из темы социального неравенства. Если бы Дуня полюбила «ровню», драмы бы не было. Пушкин не разрабатывает эту тему в плане какого-нибудь прямого социального протеста. Нет. Его интересует именно несовпадение, конфликт между «законом» общественного устройства и «человеческим» чувством. Закон этот противостоит «человеческому», как нечто внешнее ему, жестокое и уродливое, несмотря на то, что похититель Дуни отнюдь не ведет себя как какой-нибудь развратный или жестокий барин, и, казалось бы, все для Дуни благополучно. Все — да не все. Общественный «закон» жесток. И жестоко поступает с отцом своей возлюбленной, унижает его человеческое достоинство любящий ее и как будто вполне человеческий Минский. Жестока судьба станционного смотрителя и даже его «удачливой» дочери, пожертвовавшей любовью к отцу ради любви к Минскому,

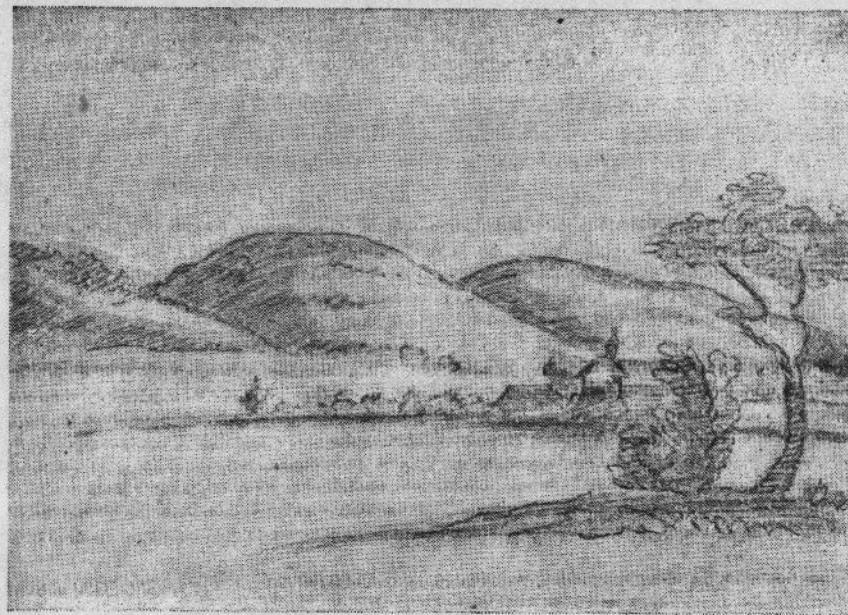


Рис. Пушкина. Пейзаж, ноябрь 1833 г.

тем более, что может быть когда-нибудь и сбудутся опасения ее отца. Жесток весь общественный порядок, породивший эту «маленькую трагедию».

Тема столкновения любви с социальным неравенством была одной из излюбленных тем русской литературы и до Пушкина («Бедная Лиза» Карамзина, «Русская Памела» Львова, «Мария» Нарезного и др.), и особенно в 30-х годах. Пушкину чужд активный социальный протест «Марии» Нарезного или апология «добродетельной поселянки» в романе Львова. Но пушкинский гуманизм не есть, конечно, и продолжение «Бедной Лизы». В отличие от Карамзина, Пушкин разрабатывает конфликт глубоко реалистически, доводит его до степени непримиримого конфликта между общественными условиями и правами человечности. Пушкин впервые в русской литературе, более полно даже чем упомянутые демократические русские писатели, сумел показать, что в тех людях, у которых мало «денег», которые трудом должны добывать себе «независимость и честь», которые низведены на положение «объектов истории», имеются не менее, а даже более богатые человеческие возможности и качества, чем в ее «субъектах», вернее чем в тех, кто претендовал на исключительную роль творцов истории.

Имеется целая литература, приписывающая Пушкину проповедь «смирности», истолковывающая защиту «маленького человека» Пушкиным, как призыв к смирению, к примирению с крепостническим строем, к отказу от борьбы. Так ставил вопрос Аполлон Григорьев, Страхов, ряд критиков символистов и особенно Достоевский. «Смирись, гор-

дый человек!» — вот как понимал гуманизм Пушкина 30-х годов Достоевский. В своем творчестве Достоевский пытался опереться на некоторые тенденции «Станционного смотрителя». «Станционный смотритель» повлидал непосредственно на «Бедных людей», а также, как недавно было доказано М. Альтманом, на «Униженных и оскорбленных». Однако влияние Пушкина больше всего сказалось на произведениях Достоевского того периода, когда он еще не капитулировал перед реакцией. Самое понимание «маленького человека» у Пушкина и Достоевского совершенно различно. У Пушкина в противовес Достоевскому нет реакционной идеализации забитости и смиренности маленького человека и ее обратной стороны — болезненной «амбиции». Не смирение и принижение, а возвышение и расцвет человеческого достоинства, «независимость и честь» демократического низового человека, который унижен «судьбой», — вот что провозглашает Пушкин. Гордого человека господствующих классов, «властелинов судьбы», от Николая I до Троцкого, Пушкин действительно призывает «смириться», стать людьми, но «низового» человека Пушкин призывает возвыситься, найти человеческое достоинство, свободу, счастье, поскольку это возможно в существующих условиях. «Гордись, униженный человек, ибо ты человек» — вот «лозунг» пушкинского гуманизма. Ограниченность своих «маленьких героев» Пушкин не поэтизирует, а трезво показывает. И здесь он ближе к Гоголю, чем к Достоевскому. Но в отличие от Гоголя, — и это верно почувствовал Макар Деушкин, — Пушкин больше умеет показать богатство человечности в самом «маленьком человеке».

Проблематика «Станционного смотрителя» раскрывается дальше по тем же двум основным линиям: раскрытие самооценки человеческого достоинства и противопоставление его жестокости судьбы безвыходных общественных противоречий, всяческой «тирании».

С этой точки зрения нужно заново понять, например, «Дубровского». Разбор этой повести в целом выходит за пределы нашей темы. Но следует обратить внимание на один момент: конфликт между любовью Маши и Дубровского, с одной стороны, и жестокостью общественных противоречий, не позволяющих их чувству осуществиться, — с другой.

Непосредственно близка «Станционному смотрителю» тема «Русалки». Это, в сущности, еще более трагический вариант той же истории. Тема осложняется типичной для Пушкина 30-х годов критикой античеловечности «меркантильного» духа, растлевающей власти корысти, которая заставляет мельника продать свою дочь и свое отцовское чувство, причем «голос природы нежной» мстит за себя. Дух «выгоды» толкает и князя на его бесчеловечный поступок. Трактовка темы, с точки зрения субъективной тенденции Пушкина, опять-таки не является революционной. Общественное неравенство представлено чем-то роковым, неустраняемым. Князь соблазнил и бросил дочь мельника и, несмотря на это, изображен вовсе не как негодяй, а как жертва необходимости, общественного закона, действующего тиранически, безжалостно. Главное в «Русалке» все в том же: судьба и закон не позволяют человеку

осуществить свое, тоже вполне законное, человеческое право, право на свободу чувства, «свободную любовь». Общественная необходимость, социальные противоречия приводят дочь мельника к смерти, князя же лишают счастья. Попранный, заглушенный «природы голос нежный» мстит за себя. Он тоже действует не только как субъективное человеческое стремление, но и как объективный нравственный закон, закон человечности, который нельзя безнаказанно нарушать. Князя постигает карающая Немезида. Но и торжество русалки по существу — мнимое, ибо мстит она уже мертвая. По сути, гибнут обе стороны. Но изображение противоречий общественного «закона», основанного на «выгоде» и социальном неравенстве, с такой резкостью и глубиной обнажает античеловечность этого закона, что трагическое примирение превращается в беспощадную критику и даже социальный протест. Эта критика опять-таки была демократической по своему объективному содержанию. Человечность князя еще глубже оттеняет омерзительность его социального поведения. Гуманность Пушкина, как видим, вступила здесь в явное и резкое противоречие со «священным принципом класса» (Белинский).

В последнем крупном произведении Пушкина «Капитанская дочка» дан новый вариант этой темы, сочетающий проблематику «Станционного смотрителя» с проблематикой «Медного Всадника», но вносящий кроме того новый, очень важный момент.

«Капитанская дочка»

Связь истории Гринева и Маши Мироновой с темой «Станционного смотрителя» ясна: Ясна и связь с «Медным Всадником»: противоречия «судьбы» и истории на их фоне, в столкновении с ними — простые любящие друг друга, добрые, человеческие «маленькие люди», которые устраивают свой «смирный уголок». Но то, что не удалось Евгению и Параше, удалось Гриневу и Маше Мироновой.

Своих «маленьких людей» Пушкин всегда ставит в исключительные, иногда прямо грандиозные, ситуации, и именно в накале, напряжении этих ситуаций разгорается все то человеческое, что серо и незаметно в обычных условиях.

Такой ситуацией в «Капитанской дочке» является Пугачевское восстание. Стихия исторических событий бросает, как щепки, Гринева и его возлюбленную. Она множество раз могла их погубить. Но в то же время в этой трагической исторической ситуации происходит хотя бы частичное освобождение их человеческих чувств и свойств.

Жестоким законам общественных противоречий Пушкин здесь особенно последовательно противопоставляет «сердца правоту», «природы голос нежный». Что сближает Гринева и Пугачева, чьи истории заставляют быть врагами? Человечность, доброта и благородство Гринева, доброта, благородство, великодушие Пугачева.

В «проекте начала повести» Гринева определяет мораль своего расказа так: «завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятель-

ствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых.— То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоём два прекрасных качества, мною в тебе замеченные — доброту и благородство».

Доброта и благородство — вот панацея от всех зол. Доброта и благородство, проявленные в сущности один только раз Гриневым по отношению к Пугачеву, «создают между ними некую подлинно-человеческую связь, противоречащую их общественной вражде. Пушкин не раз подчеркивает их обоюдную симпатию, особенно стойкую со стороны Пугачева, который даже перед казнью, узнав Гринева в толпе, кивнул ему. И эта человеческая связь, созданная гуманностью, дает возможность «выплыть» Гриневу и Маше из того «шаводнения», в котором они могли погибнуть.

Другая линия человеческого, побеждающего «жестокое» антигистические обстоятельства, дана в образе Маши Мироновой.

Маша — совершенно обыкновенна, она просто человек, и только человек. Но именно поэтому она в определенных условиях приобретает черты некоей героической личности, побеждающей обстоятельства, судьбу, причем этот героизм не имеет в себе ничего «тиранского». Сила движущего ею человеческого чувства побеждает все препятствия, когда дело уже, казалось бы, совсем плохо. Девушка, такая робкая и провинциальная, решается отправиться одна в столицу и добиться личного свидания с императрицей. Ее спокойная решительность, сознание внутренней правоты, внутренняя сила побеждает, покоряет всех тех людей, с которыми она сталкивается. Она — победительница, она — настоящий герой повести (отсюда и название повести).

«Судьба», казалось, обрекла ее на то, что ее любовь к Гриневу не может осуществиться, ибо между ними стоит социальное неравенство. Но Маша избежала пути Дуни и пути «русалки». Человеческое победило «принцип класса».

В образе Маши это человеческое тоже раскрывается как демократическое. Сравните Машу и Гринева. Гринев тоже положительный герой и он тоже отчасти дан в тонах своеобразного «демократизма», противопоставлен «верхним», «властвующим» слоям самого дворянства. В то же время он дворянин, верный своему классу, и человек «власть по отношению к крестьянству. Пушкин сочувственно изображает и многие дворянские качества Гринева. Пушкину казалось, что честь и благородство являются историческими признаками именно дворянского человека, хотя и не всякое дворянство ими обладает, и у большей части современного Пушкину дворянства он эти качества уже не видел.

Но сам же Пушкин показывает, как дворянское в Гриневе — черты дворянского недоросля — толкают его на хвостовство, грубость и другие поступки, противоречащие благородству. С другой стороны, сами идеальные дворянские рыцарские качества, которые возмечивает Пушкин в образе Гринева, — честь, благородство, верность, «ели-

кодушие, храбрость, прямота и т. д. — теряют в известной мере свою сословную дворянскую специфику и выступают как положительные качества низового, простого человека вообще. Наконец, в самом этом дворянском Пушкин поэтизирует не то, конечно, что породило Салтычих и Аракчеевых, т. е. не то, что отражало основное в классовой практике дворянства. Качеств дворянина-эксплоататора Пушкин ни в чем не идеализирует. Но он поэтизирует те патриархальные качества независимости, благородства и чести, которые относительно выгодно, несмотря на их дворянские тенденции, выступали по отношению к корысти, индивидуализму, бездушной жестокости современных Пушкину «откупщиков» и «генералов». Дворянин гриневского типа задуман Пушкиным как типичный для известных слоев своего класса человек. Но на деле лучшее в Гриневе является исключением в его среде и, конечно, существенно отличает его от типичного дворянского индивида эпохи Пушкина, от «мертвых душ» полицейски-регламентированной, азиатски-отсталой николаевской России.

Человеческое и в Гриневе не совпадает с дворянским. Это несовпадение, повидимому, в некоторых первоначальных планах «Капитанской дочки» даже могло бы привести его к переходу в стан Пугачева. Но и в окончательном тексте повести поведение Гринева далеко, конечно, от «выдержанного» дворянского поведения, несмотря на его субъективную преданность своему классу. Дружеские отношения с Пугачевым приводят его в ряды «преступников» против сословного долга. Характерно также, что Гринев не желает впутывать имя Маши в судебное разбирательство, хотя это и приводит к его осуждению. Поведение немножко даже непонятное, ибо ведь ничего порочащего честь Маши, компрометирующего ее, Гриневу рассказывать не требовалось.

Но слишком уже чужда вся трогательная история Маши и Гринева тому бездушному и холодному общественному порядку, представителями которого были судьи Гринева. И внутреннее несовпадение Гринева с этим порядком сказалось в его «странном» поведении перед судом. Только исключительная решительность Маши, а также художественно неоправданная неожиданная гуманность Екатерины II, случайная по отношению ко всему ходу действия, спасли Гринева и дали ему возможность вернуться в лоно своего класса.

В образе Маши дворянские черты уже совершенно отсутствуют, что подчеркивает сам Пушкин. Не случайно, что Пушкин сделал наиболее положительным героем своей, по выражению Белинского, «помещичьей Илиады», человека не своего класса, а человека, вышедшего из низов тогдашнего общества. Правда, Маша, как и ее родители, ничем себя не противопоставляет дворянству, и целиком подчиняется существующему общественному порядку. Это показывает, что Пушкин оставался дворянским писателем. Отсюда ряд слабостей «Капитанской дочки», из-за которых Белинский так холодно к ней отнесся и осудил характеры двух главных действующих лиц. Но оставаясь дворянским писателем, Пушкин черпал полноту человечности уже не в типических людях дворянства, а в типичных людях народных низов.

И Маша по всем линиям более положительный образ, чем даже образ Гринева.

Вспомним, что еще в «Пиковой даме» Пушкин в противовес графине и Герману и окружающему их обществу Лизвету Ивановну сделал носителем подлинной человечности, бедную воспитанницу, человека угнетенного этим обществом. Лизвета Ивановна была «сто раз милее холодных и наглых» девиц «высшего общества», которые пользовались всеми возможностями человеческой жизни по сравнению с обездоленной Лизой. Она одна в повести обладает настоящими человеческими чувствами. С каким сочувствием изображает Пушкин страдания Лизы от «холодного эгоизма», прихотей, капризов, деспотизма старой барыни, типичного «человека» дворянского общества. Пушкин подчеркивает, что страдания Лизы прямо вытекают из ее социального положения, из социальных качеств, а не из личной жестокости угнетающей ее барыни. Пушкин прямо защищает человеческое достоинство низовых людей от угнетающих их господ. И в «Капитанской дочке» он дает развернутый образ тех идеальных человеческих качеств, человеческих возможностей, которые носят в себе такие люди.

Да, эти низовые люди трудом и самоотречением добывают себе независимость и честь. Они противоположны людям власти. Даже Иван Петрович Белкин правит в своей усадьбе примерно так же, как добрый Дук в своем герцогстве. Еще меньше черты «властины» свойственны Ивану Кузьмичу Миронову и супруге его Василисе Егоровне. Но слабость их власти и делает ее человеческой, лишает ее жестокости. С другой стороны, эти низовые люди способны к такому подлинному героизму, самоотвержению, служению общественному долгу, как они его понимают, мужеству, стойкости, доброте, обладают такой независимостью и честью, до которой, конечно, далеко всем «откупщикам» и «генералам». У этих людей «добро», «отечество» не условные слова, как решил Онегин, наблюдая людей своего класса. Пушкин опять-таки не идеализирует Мироновых. Но они лучше чем те, кто над ними господствуют.

Пушкин противопоставляет пафос личности «мироновского типа» пафосу личности индивидуалистического типа, т. е. Швабрину. Суть Швабрина не в том, что он мятежник, примкнувший к крестьянской революции; критика Пушкиным Швабрина есть, прежде всего, критика Пушкиным все того же индивидуалиста, эгоиста, тирана, «наполеоновского» типа, рассматривающего человека лишь как «орудие», человека «власти», себялюбца, насильника, предателя и обманщика. Конечно, Пушкин, как дворянский писатель, осуждает в Швабрине предательство им дворянских интересов. Но ведь Пугачев еще более антидворянская фигура, чем Швабрин. Однако к Пугачеву Пушкин относится совершенно иначе. Никким образом нельзя рассматривать Швабрина как тип дворянского революционера. Нет. Швабрин — это именно эгоист, жестокий, античеловечный авантюрист, изменник и насильник, вроде Мазепы, с одной стороны, и Алеко — с другой, только еще более мелкого масштаба, а может быть даже нечто вроде зародыша «русского Наполеона».

Гуманизму Пушкина пафос «сильной личности», попирающей все и вся, глубоко враждебен. Пушкин мечтал о сильной, но не эгоистической, не тиранической личности. Пушкин карает Швабрина тем, что единственное настоящее человеческое чувство в нем (любовь к Маше) терпит крах и выражается тоже в уродливой и жестокой форме (как у Алеко например). Поведение Швабрина в Белогорской крепости напоминает поведение Алеко среди цыган, или героя «Конца золотого века» Дельвига. Он разрушает ту подлинную, хотя и ограниченную человечность, в атмосферу которой он попадает, вносит в нее яд индивидуализма и «тиранства».

Гуманизм Пушкина 30-х годов исходит из понимания невозможности для человека быть «самодовлеющей» единицей. Пафос «самостоянья» человека для Пушкина есть пафос не эгоистического «самостоянья», враждебного другим людям, а пафос гармонических отношений людей друг с другом, человеческих отношений между ними. Роковая слабость Пушкина состояла, однако, в том, что это «надличное» начало самой личности, устраняющее опасность эгоистического вырождения человека, Пушкин был вынужден черпать в патриархальной сословной, семейной зависимости, а, главное, просто в личной преданности человека человеку, дружбе, любви и т. д., формирующихся на почве тех же наличных общественных связей. Отвергая «войну всех против всех», как принцип общества, основанного на «злате» и «булате» («все куплю» и «все возьму»), Пушкин, однако, благодаря условиям тогдашней русской жизни, своему воспитанию и среде, не мог еще и в отдаленной степени предчувствовать путь к действительно человеческим общественным отношениям. Он был вынужден искать гармонических человеческих отношений позади, в патриархальных связях между людьми — в связи Савельича и его барина, в сословной «чести» Гринева, в его рыцарской верности своей возлюбленной и т. д. Отсюда — слабые стороны в гуманизме «Капитанской дочки».

Но нужно подчеркнуть, что все же и эта критика «швабринской» самооценки личности во имя самооценки подлинного человеческого достоинства Мироновых приобретала у Пушкина опять-таки демократический и даже антидворянский характер. Швабрин — человек «верхов» по отношению к Мироновым и даже Гриневу, хотя и выкинутый из этих верхов. Индивидуализм в Швабрине, как у Мазепы, Сильвио, связан с типично дворянским принципом «чести» и гордости, «надменности», хотя уже вырожденным, уродливым. Швабрин — это тот «волк-дворянин» (см. набросок «Как весенней, теплою порою»), у которого глаза «завистливые», а зубы — «закусливые».

И сами отрицательные черты дворянского приводят Швабрина к измене дворянству. Но и с крестьянством, в понимании Пушкина, он тоже не имеет ничего общего. Мятежность Швабрина и мятежность Пугачева для Пушкина совершенно различны, и к действительно демократической мятежности Пушкин относится гораздо более сочувственно.

Крестьянские образы «Капитанской дочки» окончательно раскрывают демократическое содержание гуманизма Пушкина. Образы Савель-

ича и Пугачева выражают две стороны крестьянства, как его понимал Пушкин.

Образ Савельича тесно связан с целой серией идеальных слуг в мировой и русской литературе. Реакционные стороны этого образа очевидны, и мы не будем о них распространяться. Но как глубоко и любовно, именно любовно, раскрывает Пушкин человечность Савельича, как он подчеркивает пафос человеческого достоинства в этом рабе! В нем есть независимость и честь, их в нем гораздо больше, чем, например, в Девушкине и других героях Достоевского, формально рабами не являющихся. Как держится Савельич с Гриневым! Как он отвечает в письме отцу Гринева на его упреки и угрозы! Это, конечно, письмо крепостного слуги, но сколько чувства собственного достоинства пробивается сквозь его рабский тон. Пушкин идеализировал и приукрасил в Савельиче и многое такое, что являлось человеческим только с дворянской точки зрения. Но характерно все же для Пушкина: акцент не на «смирненности» Савельича, а на том человеческом достоинстве, не эгоистическом, которое выступает в оболочке этой смирненности.

В образе же Пугачева гуманизм Пушкина раскрывается с новой, еще более прогрессивной стороны.

«Маленький» и большой человек. Свобода человека

Пугачев выражает те черты русского народа, которых не хватает Савельичу: удаль, размах, широту натуры, стремление преодолеть всякое рабство, всякую «смирненность». В Пугачеве демократический человек выступает уже не как смиренный, а как дерзающий. Униженный человек становится большим историческим человеком, пытается из объекта истории стать его субъектом.

Пушкин отрицательно относится к деятельности Пугачева, как исторического лица. Он не верит, что этот путь превращения объекта истории в ее субъекта, человека, угнетенного властью, в человека власти, действительно осуществимый, во-первых, и действительно человеческий, во-вторых. Но само стремление Пугачева подняться над «смирненным» уголком, который отвела ему судьба, общественный «закон», вызывает у Пушкина, вопреки его дворянским политическим взглядам и симпатиям, глубочайшее сочувствие. Оказывается, что Пугачев кое-в-чем даже еще более высокий человеческий тип, чем Маша Миронова и чем Савельич, и именно мятежность его, пафос свободы, дерзания рождает в нем огромную силу и полноту жизни. Пугачев подчеркивает, что в своем бунтарстве он видит единственную возможность жить настоящей полной человеческой жизнью. И Гринев очень слабо опровергает его.

Пушкин сам не удовлетворялся смиренным «маленьким счастьем» в «обители дальней». Он сознает «бедность жизни человеческой» таких людей, как Гринев, которые лишь минутами достигают яркости и богатства. И вот это стремление к действительно вольной и полной человечности жизни роднит Пушкина с Пугачевым — героем «Капитанской дочки».

Странным образом, но в Пугачеве (как еще раньше в Самозванце) Пушкин видит черты «моцартианского» человека — отсутствие корысти, расчета и «стесненности» сальеризма, свободную полноту и непосредственность жизни, размах и широту ее, хотя здесь она выступает и в стихийной, «безумной» форме.

И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Жажда вырваться из обычных, стесняющих человека, условных, античеловеческих законов, дать полную волю страстям, «голосу природы», (и не только «нежному голосу») — жажда действительной полной свободы проявления всех человеческих чувств и свойств — эта жажда звучит в целом ряде стихов Пушкина.

Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык...

И в другом месте:

Есть упоение в бою

и т. д. и т. д.

Отсюда же у Пушкина 30-х годах реалистические типы романтических благородных разбойников, вроде Дубровского и Кирджали, и глубокое ощущение к героизму этих людей, героизму мятежному, не имеющему ничего общего с пафосом «смирненного уголка» и в то же время героизму не «наполеоновского», а какого-то другого, более высокого, хотя и неясного Пушкину типа.

Пафос самоценности земного человека, земной чувственной свободы бессознательно, а иногда и сознательно, связывался с политическими, мятежными настроениями Пушкина. Отношение Пушкина к Пугачеву подготовлено в этом смысле всем прошлым поэта. Мечты и стремления вольнолюбивой молодости Пушкина никогда не умирали в нем, и под конец жизни они даже начали оживать с новой силой. Еще в 1822 г., как мы теперь знаем из дневника П. И. Долгорукова, Пушкин противопоставлял «класс земледельцев» дворянству, говорил даже, что всех дворян надо перевешать и т. д.¹, и позже, уже после так называемого «отхода от декабризма», Пушкин именно Степана Разина называл «единственным поэтическим лицом русской истории».

¹ См. «Правда», 11 декабря 1936 г., статья Бонч-Бруевича «Ценный документ о Пушкине». Высказывания Пушкина, засвидетельствованные Долгоруким, ярко показывают демократические и иногда даже революционные порывы Пушкина. Они окончательно опровергают все попытки причислить Пушкина к дворянским либералам. Но демократические и свободолюбивые стремления Пушкина 1822 г. были непоследовательными и противоречивыми, были тесно связаны со специфическими надеждами и иллюзиями дворянской вольности и т. д., выступали в форме этой дворянской вольности. Это отнюдь не противоречит тому, что творчество Пушкина, и притом в целом, а не только в этот период, имело огромное демократическое и освободительное значение и объективно отразило нарастание крестьянской революции.

Мятежные стремления молодого Пушкина выразились и в его творчестве 30-х годов, когда он якобы «боялся народной революции», в том, что именно в людях типа Пугачева он увидел такие высокие человеческие черты, которых в Гриневых, не говоря уже об «откупщиках» и «генералах», увидеть не мог. В известной мере даже не Маша Миронова, а именно Пугачев был настоящим героем пушкинской повести, вопреки всем классовым предрассудкам Пушкина. Недаром же Пушкин в шутку называл себя «историографом Пугачева».

Часто отождествляют позиции Гринева и Пушкина. Это — большая ошибка, правильно указанная некоторыми исследователями. Пугачев во всех отношениях показан Пушкиным как более яркая и даже более гуманная фигура, чем Гринев. Какое благодеяние практически оказал Гринев Пугачеву? Подарил ненужный ему заячий тулупчик? А Пугачев отплатил Гриневу воистину сторицей. И вообще, как широк и ярок Пугачев по сравнению с Гриневым!

Пушкин не верил в историческую правильность дела Пугачева. Оно было для Пушкина скорее «безумием», как безумием казалась ему в 30-х годах всякая попытка свержения существующего общественного строя, законов буржуазного и дворянского общества. Не надо забывать также, что пугачевское восстание было не крестьянской революцией, а крестьянским «бунтом». В нем много было действительно стихийного, напоминающего «наводнение». Опыт пугачевского восстания не мог убедить Пушкина в способности народных масс, и в особенности русского крестьянства, к разумному, целеустремленному, историческому творчеству.

Подлинного творчества масс Пушкин искал не на путях народной революции, и стихийность крестьянских восстаний казалась ему чем-то роковым и непреодолимым. В этой стихийности Пушкин видит основу и жестокости и «безумия» пугачевского бунта. Пушкин не мог еще даже и предчувствовать возможность и необходимости в России исторических народных движений более высокого типа, чем пугачевское, и не мог понять, что стихийные народные восстания, вроде пугачевского, подготавливали этот более высокий тип движения. Но эта слабость Пушкина тоже не сводится только к дворянским его предрассудкам, хотя, конечно, они играли огромную роль, как гиря на ногах мешали его движению вперед.

Итог буржуазных революций на Западе тоже не удовлетворял Пушкина. Поэтому Пушкину казалось, что крестьянские восстания не могут привести к торжеству человеческого достоинства. Поэтому Пушкин считал непобедимым Медного Всадника. Поэтому он пытался идти путем утверждения человеческого достоинства на базе существующих общественных законов, не понимая, что в самой этой общественной необходимости была дана и общественная необходимость ее революционной смены. Пушкин, в частности, пытался идти и путем раскрытия человеческого, народного в самом дворянском человеке. Но никогда Пушкин не мог довольствоваться этим даже в своей публицистике и тем более, неизмеримо более, в своем творчестве. Поэтому, отвергая пугачевское восстание, Пушкин в то же время с огромной симпатией раскрывает в Пугачеве черты народного героя.

Отсюда полушутливая характеристика Пугачева в послании Давыдову.

В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Герой народного восстания мог бы быть национальным героем, героем патриотических партизанских отрядов. Следовательно, и для людей типа Пугачева добро и отечество — не условные слова. Пугачев — «плут», простой авантюрист, вроде Дмитрия Самозванца, говорит дворянин Пушкин. Но какой тем не менее это замечательный человек, более поэтический, чем даже «честные» дворяне, не говоря уже о дворянских «плутах»! — говорит великий художник Пушкин.

И поэтому, противопоставляя Пугачеву — пугачевщину, Пушкин тем не менее мимоходом, в образе Хлопуши, соратника Пугачева, показывает те же черты широты, размаха, силы, гуманности.

«Разумная действительность» исторического процесса со своей человеческой стороны состоит в гуманности; гуманность преодолевает роковые, жестокие противоречия истории, ее стихии. Но кто же дает объективную силу гуманности, кто дает силу объективному закону в противовес законам «жестокости века»?

Народ! и притом не покорный, а мятежный народ, народ, действующий исторически.

Народная Немезида отомстила за «все обиды» тирану Наполеону. Народная Немезида отомстила Борису Годунову за нарушение им нравственного порядка.

И народное движение дало жизни Гриневу «благодетельное потрясение», вывело его из безвыходного тупика. Пугачевщина, несмотря на все свои жестокости, несмотря на то, что она погубила отца и мать Маши, в то же время дала Маше возможность устроить свое счастье. Более того, Пугачевщина борется с Медным Всадником дворянского государства. И что же оказывается? Пугачев великодушней и гуманней, чем та безличная государственная машина, в лапы которой попал Гринев. Правда, гуманности Пугачева Пушкин противопоставляет изысканность и человечность Екатерины II. Но это у него получается как же неубедительно, как и концовка «Анджело», и целиком противоречит характеристике Екатерины II в других местах у Пушкина. В общем, роковая историческая стихия, поскольку ею было народное движение, более человечна, чем Медный Всадник.

Пушкин плохо верил в массовый «разум» человечества.

О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха!

Правда, это относится больше всего к правящей верхушке человечества. И в то же время только в народе и в людях, с народом связанных, сохранились источники подлинной человечности. Именно народные движения, именно огонь великих исторических потрясений раскрывает все богатство человеческой личности и делает маленьких людей большими людьми. Именно большой «народный человек» является высшим человеческим типом для Пушкина.

Таковы объективные выводы из «Капитанской дочки», несмотря на все консервативные политические тенденции Пушкина и вытекающую из них ограниченность его гуманизма.

Мы видели противоречия пушкинского гуманизма, сложность его развития. Анализ творчества Пушкина со всей несомненностью приводит к выводу: Пушкин проложил путь новому, демократическому гуманизму. Гуманизм Пушкина, будучи по своему происхождению дворянским, отразил стремления широчайших народных масс к действительно человеческой жизни, стремления передового и прогрессивного человечества. И грозное дыхание нарастающей крестьянской революции и смутное предчувствие недостаточности ее буржуазно-демократических задач для того, чтобы обеспечить полную свободу и счастье масс, — с необыкновенной силой отразились в пушкинском утверждении прав человека на полную, радостную, свободную жизнь на земле, на реальное счастье, в борьбе Пушкина против жестокого века эксплуатации и подавления человека человеком, против власти «злата» и «булата», в пушкинской защите прав подавленного массового человека на личное достоинство, счастье и свободу, вере в силу и достоинство человека. Поиски Пушкина не привели и не могли в тех условиях привести к реальному выходу, но они будили народ, они глубиной постановки вопроса создали почву для необыкновенно сильного художественного реализма, который привел к величайшим художественным достижениям человечества после Шекспира.

Социалистический гуманизм разрешил неразрешимые для Пушкина антиномии исторической необходимости и свободы человека, человека и «власти», общественных законов и прав гуманности, «большого» и «маленького человека». Практика пролетарской революции, творческий труд, подлинно народная, подлинно человеческая общественная власть, превращение масс в сознательных творцов истории, подлинно гуманная общественная практика, гуманный общественный закон, включающий в себя и революционное насилие над врагами человечества — дали практический ответ, разрешение великих вопросов, великих поисков Пушкина.